Александр КАЛУЖСКИЙ

# невозвратные глаголы

*год за годом, под спудом, впотьмах ...*

Александр КАЛУЖСКИЙ

невозвратные глаголы

**Александр КАЛУЖСКИЙ**

# НЕВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

**СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ**

Екатеринбург
Творческое объединение «Уральский меридиан»
2012

ББК 84 (2Рос=Рус.)6
К17

**Калужский Александр Сергеевич**
К17 **Невозвратные глаголы.** Стихотворения и переводы — Екатеринбург: Творческое объединение «Уральский меридиан», 2012. — 110 с.
ISBN — 978-5-904646-09-7

ББК 84 (2Рос=Рус.)6

© Калужский А.С., 2012
© Никулина М.П., Верников А.С., составление, 2012
© Зиганшин И., оформление обложки, 2012
© Творческое объединение «Уральский меридиан», 2012

ISBN — 978-5-904646-09-7

# I

* * *

Не спится, и за дверью непогода —
так хлещет только на краю земли;
и колокольцы медные у входа
звенят, как будто кони понесли.

Полозья хлопают через ухабы
и поднимают тучи воронья,
на берегу бельё роняют бабы,
и коренного валит полынья.

Темно кругом. Ломотно. От озноба —
ни слова молвить, ни разжать горсти.
Лишь перезвон с порога, да хвороба
мотает душу, Господи прости!

* * *

Растянутой на мили вереницей
они проходят в декабре вдоль этой
полоски суши, где листва пылится
из лета в лето;

где дни, как листья, меж собою схожи...
И ты глядишь вдогонку каравану
и произносишь: год прошёл и тоже
как в воду канул...

И видишь, как свечой взмывает пена,
а следом — кит, кочующий с подругой
от ледовитых пастбищ Уэлена
к лагунам юга.

Как будто бы подхваченный откатом
волны, хлестнувшей по настилу пирса,
всплываешь на Чукотке, где когда-то
на свет родился;

где снова в непроглядных водах лона
сжимаешься в предчувствии кочевий,
как сло́ва убоявшийся Иона
в китовом чреве.

## ДВУЯЗЫКИЙ

Наследие двуглавого орла —
два языка, один с другим в раздоре —
им тесно в коммунальном коридоре —
как быть, я сам два года без угла?

Два языка... — оно ещё полгоря —
от тесноты не ладят, не со зла;
да вот ведь длинные! — перебрались за море,
но перемена мест не помогла —
один зовёт назад, готовый на
родной «Дымок» при лестничной площадке;
другому — хватит якобы говна! —
ему дым «Кэмела» и слаще, и прелестней...

Куда прикажете, при этакой раскладке,
мне весело шагать по жизни с песней?!

* * *

*Майе*

Я видел сон: мы плакали на кухне,
назавтра был мой рейс (сначала на Москву)...
Конечной точки я не назову —
мне страшно; вдруг как снова свет потухнет!

Вы говорили: «Не твоя страна»;
Кельт сумрачно вещал о билингвисте
Набокове: «Эт надо ж взбелениться...
А-а, всё разрыв-трава да белена! . .»

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Я был разбужен резким гвалтом чаек.
Мой друг за молом сети выбирал,
а я всё вглядывался: будто бы Урал
пытался разглядеть сквозь океан печали.

*Июль 1985.*
*Песчаная, остров Ольхон*

* * *

Вслушаешься: будто кто-то в стекло
постучался, вздохнув тяжело.
То сусальная хвоя, срываясь с ветвей,
бьётся в форточку спальни твоей.

Вспомнится ль давняя повесть о той,
что попала под дождь золотой,
как под струями ливня сияла она
у трепещущей створки окна;

вспомнится ль тот, кто взобрался к тебе
по дрожавшей от ливня трубе,
и как настежь в ту ночь распахнулось окно,
за которым сейчас так темно.

Лиственницы у тебя во дворе
облетают об этой поре,
и сшивают иголки неспешную тьму
на подлёте к окну твоему.

## БЛАЖЕННАЯ АННА[1]

Опять зашумят эвкалипты,
сметут в океан Млечный Путь,
Блаженная Анна калиткой
захлопает — где тут уснуть...

Поднимешься, выйдешь за двери,
закрутишь в бумагу табак —
в дому́ ощущенье потери
острей, чем январский сквозняк,

а здесь, на юру, оно глуше
и неотличимо почти
от стонов блаженной кликуши
с упавшей звездою в горсти.

[1] Санта-Ана — сильный, порывистый восточный ветер в Южной Калифорнии (*прим. автора*).

* * *

В доме не ко времени темно,
потому что ветки тополей
прянули в открытое окно.
У соседей свет горит давно,
но тебе со светом — не светлей.
Закрывая окна, ты поймёшь:
не бывать и в августе теплу —
что ни день, одно и то же — дождь;
что ни вечер — лиственная дрожь —

дни текут, стекают по стеклу.
И по эту сторону стекла —
та же дрожь — сырая теснота;
да текут по стенам зеркала...
Где ж река твоя текла
и что тебе рекла,
полуночник, полусирота?

* * *

Незадолго до станции стало смеркаться,
так что место прибытия, скрывшись в потёмках,
показалось лишь запахом жёлтых акаций
да полоскою неба в чернильных подтёках.

Горизонт полыхнул напоследок обрезом
золотым и захлопнулся в чьей-то ладони.
По дороге, пропахшей углём и железом,
трое суток я трясся в плацкартном вагоне.

И три года пред тем рисовал эту местность,
перед сном и во сне, не скупясь на детали...
чтобы, спрыгнув с подножки, шагнуть в неизвестность
да глазами скользить по глазам, что встречали

не меня. Поезд вздрогнул. Внутри засаднило.
Гасли окна, как сцены, что видел во сне я.
Благо, по́ небу были разлиты чернила,
Но туда я прибуду гораздо позднее.

* * *

Оттого что я в городе том не живу много лет,
оттого что с бессонницей все эти годы нет сладу,
я теряюсь в его закоулках ночных; и рассвет
незаметно выводит обратно, к холмам Померадо.[2]

Значит, снова на трассе, и надо протиснуть «дайву́»
сквозь колонну армейских фургонов, грохочущих справа.
Оттого что я в городе том много лет не живу,
этот пыльный большак мне теперь и престол, и держава.

— Потерпи, — говорю, — скоро тень от Батальной горы
упадёт на предместье, и скроется солнце за рощу,
возвращая тебе темноту, проходные дворы
и щемящую боль узнаванья пространства на ощупь.

[2] Эти холмы, самый высокий из которых известен как Батальная гора (по-английски — *Battle Mountain*, по-испански — *Monte Batalla*), расположены на северной окраине Сан-Диего (*прим. автора*).

## СОН-«DIEGO»

*А. Верникову*

Беспокойная гостья порхает впотьмах за окном,
бархатистыми крыльями пахтая воздух в упругий
и удушливый ком,
и тебя выкликает тайком
в опочившей округе.

Дотемна стены дома вбирали убийственный зной,
и поэтому пекло, увы, до рассвета продлится;
и ты бредишь в парной:
— Может, выведать ход потайной
у залётной пришлицы?..

Тихо выдохнешь «выход» — да много ли проку с того
в поселеньи, где проще и слаще всего заблудиться?
И в названьи его
неразрывно слились *«die»* и *«go»* —
и по кругу граница.

* * *

Землю, что жжёт ступни,
ночью кропит роса.
Высыпав звёзд огни,
высятся небеса.
Скоро забрезжит день.
Музыку заглушит
будняя дребедень,
*locally known as shit*.[3]
Завыдыхает *«Hi!»*
бизнес не без ленцы.
Калифорнийский рай.
Глянцевые резцы.

Люди здесь острова —
не подберёшься вброд —
крепко блюдут права
кругобережных вод.
Этого ли искал,
карту зажав в кулак?
Цепи свободных скал,
Архипелаг *Good Luck*.

[3] На местном наречии именуемая дерьмом (*англ.*).

## НА РЕЧКЕ

*Ивану*

Тормошит меня ни свет ни заря;
шепчет на ухо: «Вставай поскорей!» —
и уводит со двора втихаря
на Подкаменку таскать пескарей.

В мокрых зарослях заброшенный тракт;
за кедровником — сворот с большака;
там в распадке, словно мутный смарагд,
тусклым светом истекает река.

В той реке брожу, закинув уду,
с переката на другой перекат;
и как будто разговоры веду... —
только где он, мой попутчик, мой брат?

«Где ты, Ваня, отзовись, два вихра!» —
Пусто место, сколько взглядом ни шарь...
Пробирает до слезы шивера;
не берёт мою наживу пескарь.

* * *

Дождь хлопал по картофельной ботве
порывисто и тяжело. Я пробудился
в тревоге: кто там бьётся спозаранок?..
крыло волочит, силится взлететь?..

*— Ты на земле, мой август,*
*бедный мой подранок!*

* * *

Пустяк, казалось бы, — твой друг сменил квартиру...
Пять лет прошло, и не могу привыкнуть...
Он это чувствует, не задаёт вопросов,
и я молчу... Обнимемся в прихожей,
а дальше — вздор — прокуриваем кухню...
Не ту, что раньше,
и не так подолгу...

Запилены полночные пластинки —
за хрипом времени не разобрать ни слова;
в Европе — слякоть, дома — бездорожье...
И мы идём на старую квартиру —
один за тем, чтоб нянчиться с ребёнком;
другой?..
Не знаю... —
просто...
друг за
другом...

## ПАМЯТИ НИКОЛАЯ СЛУДНЕВА

Среди облаков порожних,
редеющих на бегу,
услышишь ли ты, дорожник,
мой голос на берегу?

Расскажешь ли, звёздный кореш,
ночную нарушив тишь,
какие мосты там строишь,
какие пути мостишь?

Песок на пустынном пляже
да лунной дорожки ртуть —
и не простились даже,
а выпал неблизкий путь.

Срываются в темень скаты
за кромкой материка;
Колумб говорил «покатый»,
и я говорю «пока...»

* * *

Горечь иных годовщин не стихает под спудом, Григорий.
Разве что сам я смолкаю под времени пристальным взглядом.
Или, газуя на джипе вдоль выжженных в джут плоскогорий,
Грусть разгоняю, представив, что ты на сидении рядом.
Осень таращит вороньи зрачки можжевеловых ягод.
Рдяный каскад бугенвиллий пылает как шапка на воре,
И, распластав надо мною тучку, что белку-летягу,
Юго-восточный, надрывистый глушит мой голос, Григорий.

**ПРЕДМЕСТЬЕ**

За рекою, на том берегу
золотые горят купола.
А речные трамваи в снегу,
и далёко еще до тепла.

Просыпаюсь. За окнами тьма.
В сенцах Лютый по душу мою.
Что-то долгая нынче зима —
ни заспать, ни запеть... Затоплю.

Из-под лезвия щепки поют,
словно щиплют в углах тишину,
словно тянут — вот-вот оборвут —
несозвучную ладу струну.

* * *

Я гляжу, как если бы извне,
на себя, идущего домой,
и в глазах, привыкших к белизне
в это время года, за каймой

снежных сопок видится лыжня,
ледяных торосов бирюза,
и пацан, похожий на меня,
снег смахнёт, посмотрит мне в глаза —

наклонившись над озёрным льдом,
смотрит сквозь студёную слюду,
чувствует, сейчас войду я в дом
и усталый взгляд свой отведу,

продолжая разговор немой
за прозрачной гранью ледяной.

## ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

Они ходят ко мне на каток —
между ними такой холодок,
что застыл бы любой водоём,
окажись они рядом вдвоём.

(Говорят: *«Поостыли... разлад»* —
вот и отдан я в спортинтернат).

Как привыкнешь, так здесь ничего;
даже все — как бы — за одного...
и для всех одинаков звонок
на урок, на обед, на каток —
всё равно я грущу, потому
что не легче с того одному...

Знатоки обо мне говорят:
«В восемь лет первый взрослый разряд!» —
только что же мне делать, когда
с первых дней я живу среди льда;
и кому, как не этим двоим,
я обязан призваньем своим?

## ДАНЕЧКЕ В ПАМЯТЬ О СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ, С ЛЮБОВЬЮ

*«Вечор, ты помнишь...»*
*А.С. Пушкин*

Помнишь, накануне ты хандрил,
глядя вниз сквозь прутики перил
на свечей мерцающих игру,
освещавших ветки, мишуру,
сквозняком колеблемый ковчег —
ты хотел в подарок только снег.
Ты мечтал слепить снеговика
с дужкою ведёрка у виска,
на салазках мчать во весь опор
в том краю, где не был до сих пор...

Так вздохнул во сне, что этот вздох
услыхал на небе светлый Бог
и просыпал щедрые дары
на калифорнийские дворы.
Выйдешь за калитку: волшебство —
груша расцвела на Рождество.

## ВТОРНИК

Вместо сада — заросший пустырь —
над останками стен монастырских
вьются жухлые дудки настурций
и людских нечистот нашатырь.

Там, неспешнее день ото дня, —
то ли сторож ночной, то ли дворник —
бродит мой неприкаянный вторник,
доживает мой век за меня.

Он к любимым и близким моим,
неприметный, приходит ночами,
исчезая, как дымка над чаем,
как от свечки потушенной дым.

Так и мыкать ему в том краю,
продолжать сторожить ли, мести ли
всё, что тридцать три года вместили
в непослушную память мою.

* * *

*Ирине*

Поехали, слушай, в Сиэттл,
где ночью, в огнях маяков,
больших кораблей силуэты
плывут вдоль живых берегов!

Там сумерки неторопливы,
а утра — протяжно-нежны —
встают, отражаясь проливом,
на смену дождям затяжным.

Как знать: может, это тот случай —
давай же в машину смелей,
пока нас, в припадке падучей,
не смял эпилептик Эл-Эй!

Приедем, побродим, продрогнем —
и в добрый портовый трактир;
и там ты поймёшь: я не мог не
забрать тебя, не привезти

сюда, где по дому кручина
и липкий скитальческий страх,
как пеночка на капуччино,
растают у нас на губах.

* * *

Если надумаешь ехать сюда по железной дороге,
дай мне заранее знать, чтобы я тебя встретил в Ангарске.
И от порта́ можно тоже добраться, и это не многим
более часа на «тачке», да только на «тачке» — по-барски...

Помнишь, как ты шестилетним сюда приезжал, в Суховскую,
как мы на пару с тобою ходили «в бурятские гости»...
Жаль, что ни бабка, ни дед... впрочем, сам я пишу и рискую,
прежде чем свидимся здесь, оказаться на том же погосте.

Нет, ты пойми меня правильно: я тебя не упрекаю
и не пытаюсь — там как-то разжалобить — дело не в этом —
просто здоровье действительно швах, да и что Суховская
после Европы?.. к тому же проблема, ты пишешь, с билетом...

Так и живём эту жизнь... кабы знать, что же это такое,
кабы спросить напоследок: а было ли предназначенье...
Скоро совсем рассветёт, и густые клубы над рекою
скроют немого Творца, уходящего вниз по теченью.

* * *

В какой-то жизни, ранешней, нездешней,
распахнутой в родительские кущи,
скворчал побудку выводок в скворешне;

и гомоном, ликующим, влекущим,
июль меня вытряхивал из спальни
в цветы и заросли, что становились гуще

и расступались только у купальни,
впуская разом обмороки света...
Ах, всё проделки памяти предальней!

И эта жизнь, ужели не примета
каких-нибудь совсем иных видений,
которые припомнит кто-то где-то

в полубреду полночных откровений?..

* * *

Никогда я не думал о завтрашнем дне —
просто жил как цветок на окне —
незаметно тянулся на свет в полусне
и не знал, что живу
наяву.

Отчего так случилось, с чего это вдруг
воздух сделался густ и упруг...
и какая-то жизнь происходит вокруг —
как пробиться мне к ней
без корней?..

Мне бы снова забыться растительным сном
за высоким и светлым окном...
но окно было в доме, а где этот дом? —
не найти ни сейчас,
ни потом.

## ЧЕЛОВЕК В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

*Алексею Привалову*

Среда окружает вплотную,
безжалостным, плотным кольцом.
Сложить, что ли, песню блатную
с трагически-светлым концом;

такую тягучую повесть,
длиной с грузовой эшелон,
куплетов гремучую помесь,
стучащих вагон о вагон, —

эх, раз — кочегарить! — а там бы
пускай он летит под откос,
пока не прокашлялся тамбур
от дыма твоих папирос!..

Любимый товарищ по школе
прочтёт, вся в слезах, некролог:
«Замучен тяжёлой неволей
российских железных дорог...»

**ВТОРЧЕРМЕТ**

Под утро державная кварта
динамик рвала за стеной.
Окно крестовиной Декарта
впивалось во мрак торфяной.

Когда наконец рассветало,
уже начинало темнеть
в краю, где усталость металла
влилась в оркестровую медь;

где смесью мартеновской сажи
и хлопьев небесных белил
похмельный художник пейзажи
писал, потому что любил:

— Ну что́ мне, в натуре, Гекуба?..
бывало бормочет в ответ
на окрик: «Вставай, большегубый!
На выход! Кольцо. Вторчермет».

## REDHEAD REVISITED

*Б. Рыжему*

Жаль, что я тебя не застал,
в город наш вернуться не смог,
где ты вторчернуху метал,
послеперестроечный блок;
где рванул ты на пьедестал,
табурет брыкнув из-под ног.
Потащило... без дураков,
словно в безуёмной игре —
вроде тех «гигантских шагов»,
что взлетали в старом дворе;
прыгнул, да и не был таков,
и горите все на костре!
Может, над округою взмыв,
приобщился тайны какой,
словно смерть саму посрамив,
не смолкаешь, скальд слободской,
а вкруг горла — собственный миф
стягивает жизнь со строкой,
так и норовя захлестнуть,
редкой пробы голос пресечь...
Слушай же, как прерванный путь
краткой строчкой комкает речь,
как разлука давит на грудь
тяжелее прочих невстреч.

## РАННЯЯ ПАСХА В СИБИРИ

На́ небе тьма и пурга: местных метеорологов сводки
не обманули — метель разыгралась по полной программе.
Ночью, в Страстную субботу, в иркутской рабочей слободке
в тщетной попытке тебя отыскать в переполненном храме,
в море бесчисленных спин, заслоняющих спины другие;
на монастырском дворе, где сечёт по щекам непогода;
на берегу Ангары, погасившей хоры литургии,
я потерялся в пурге по скончании крестного хода;
то есть я знал, где я был, но я ведать не ведал, куда мне,
окоченевшему, деться от этой сырой круговерти,
с этого гиблого берега, где на заснеженном камне[4]
пел искупитель иной накануне мучительной смерти. . .
Наледью блещущий крест, уходящий в небесные шири, —
место слиянья двух рек — заливается алым с востока;
вот уж воистину, брат, ранняя Пасха в Сибири —
экий знобящий размах! экая жертва до срока!

[4] Адмирал Александр Васильевич Колчак, расстрелянный в ночь на 7 февраля 1920 года за стенами Знаменского монастыря в Иркутске, на берегу реки Ушаковка, при её впадении в Ангару. По легенде, сидя на льду в ожидании расстрела, адмирал пел романс «Гори, гори, моя звезда...»

* * *

Ненастье минуло, и с веток,
меняя краски на лету
в лучах нахлынувшего света,
срывались капли в темноту
теснивших просеку валежин;
и лес, ещё совсем немой
после грозы, стоял завешен
по корни мокрой бахромой.

Подсобник в плотницкой артели,
ты нёс полотнище стекла
перед собой; за ним летели,
сверкая, капли — жизнь текла,
покуда ты, идя по лужам,
в ненастье вымокший сполна,
выплёскивал её наружу
с натруженного полотна.

## ЛЕТО В ГОРОДЕ

*Аркадию*

— Нацеди мне кружку без сиропа —
так печёт, что просто невпротык.
Зыркнет газировщица сурово
на зело запрыгавший кадык.

— Нацеди же, в самом деле — чай не
водка...
— Ладно, пей и будь таков.
И я пью и чувствую: легчает
на душе от лёгких пузырьков;

пью и не могу не улыбнуться,
и вбираю впрок на много лет
влажный жар от плавающих в блюдце
свежеотчеканенных монет.

## НА ЯЗЫКЕ РАСТЕНИЙ

Ты говоришь на языке растений,
ты выросла на солнце, на земле —
но я не знаю языка растений,
всех этих окончаний и склонений
на крепком и развилистом стебле.

Ты снизу вверх несёшь свою природу
из плодородной, тёмной глубины —
но я... совсем другого рода;
сейчас совсем другое время года,
чтоб грянуть оземь ливнем проливным —

совсем не твой — и ты растёшь немая,
и ничего не требуешь взамен,
на языке растений понимая,
что снегопады в середине мая
куда страшней грозящих перемен.

## ЦИКАДА

*Данечке*

Говорю: «Не пойму — для чего
ей лежать до семнадцати лет
под землёй и лишь месяц всего
любоваться на солнечный свет;
для чего ей, забившись в тоннель,
прятать крылья тончайшей слюды
и лишь пять скоротечных недель
оглашать своим гимном сады?..»

Отвечает: «Отец мой, не зря
год за годом, под спудом, впотьмах,
в одиночку, без поводыря,
в тороватых на скорбь закромах
эта нимфа, как влагою плод,
наполняется звуками недр... —
ты уйдёшь, и цикада споёт
твою тайную музыку мне...

И когда я туда попаду —
ты же знаешь, что я терпелив, —
пропою нам понятный мотив...»

«Не спеши, я *ещё* подожду».

## ПАМЯТИ НЕБОЖИТЕЛЯ

Бросишь взгляд на клочок билета
и увидишь, что дом твой пуст, но
ты, похоже, застрял; и это
в городе, особенно летом,
грустно.

Где там — в этакой канители
ветра, мечущего в глазницы
хлопья тополевой метели, —
вырваться, да хоть на неделю
скрыться!

Лето всем воздаёт по вере
в лето; после хмельной прогулки
ты проснёшься у чьей-то двери,
за полночь, в неузнанном переулке.

Светофора зелёный свет на
перекрёстке, куда пришёл ты,
обворованный; незаметно
сменится, за листьями вслед, на
жёлтый.

* * *

*Майе*

За окном, во тьме кромешной, шорох
облаков, разбухших и тяжёлых;
и слепой, запутавшийся в шторах,
чутким пальцем водит по стеклу,

привстаёт на цыпочки, заслышав
стук дождя по черепичной крыше,
словно воды, посланные свыше,
смыли нескончаемую мглу.

Капли скачут по ветвям и зданьям —
каждым всплеском, дробью, затуханьем
возвращают миру очертанья
в проливную ночь на Покрова;

крестится слепой на осень в раме,
как на чудо в царьгородском храме:
— В глубине двора, за гаражами,
выросла высокая трава.

## СЕВЕРНЫЕ СТРОФЫ

Похолодает, птицы подожмут
свои доисторические лапки;
закружатся кленовые крылатки
и на газонах листья подожгут.

От ветра вся округа ходуном. . .
Ты помнишь, как мечтала превратиться
в красивую выносливую птицу,
навеки неразлучную с теплом?..

Лети, не зябни; я смогу простить —
на севере темнеет слишком рано...

Сучат ветра спасительную нить
оставленным латать сквозную рану.

## УРАЛЬСКИЕ СТАНСЫ

*Владимиру и Олегу Ворониным*

Я узнал из газет, что у вас было жаркое лето.
Я представил, как вы молодели на утреннем пляже
и... молчали в ответ — я писал, не дождавшись ответа,
чтоб облегчить листвы и небес дожденосную тяжесть.

За квадратом двора пыльный тракт ждёт невольника странствий;
добреду до угла — и обратно, никем не замечен.
Очень скоро ветра обнажат и растащат пространство,
и дожить до тепла станет много важней, чем до встречи.

Так что ближе к огню, коим славится край моложавый, —
будем пить, будем есть у хозяйки, весёлой и щедрой,
будем жить в глубину, если есть глубина у державы,
значит, именно здесь открывать эти тёмные недра.

## ИЮЛЬСКИЙ БЛЮЗ

На корте, залитом бетоном и зноем,
где тень моя скрыться спешит подо мною,
потомки невольниц стучат баскетболом
и походя чавкают жвачкой с ментолом.

Они мускулисты, стремительны, метки;
и звенья цепей, что висят вместо сетки
на кольцах, гремят от прямых попаданий
над кровельной дранкой обшарпанных зданий.

Июльского марева видеотрюки:
всё будто бы в сепии, — цепи и руки —
всё в тон Миссисипи, что неторопливо
несёт свою глину к болотам залива.

И тянется блюз, словно эхо из бездны:
— *Корзины бездонны и цепи железны...*

## БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

*Памяти Рэймонда Карвера*

Столы и лавки под открытым небом.
Ни деревца, и лишь поодаль — кровли
замызганных казённых помещений
с решётками в оконных переплётах.

Бетон двора и небо над бетоном
к полудню замыкают плотный контур,
и в нём заложником томится воздух
провинции на широте Каира.

И ты хватаешь ртом горячий воздух
под пятистопный стук в кости височной,
подёнщик, пришлый с севера, подпасок
на выгоне для городских подростков.

Звонок разводит их по душным классам,
где вентилятор тоже за решёткой —
чтоб электрический зверёк из клетки
не выпрыгнул и не издох на воле.

Ты не спешишь — «окно» по расписанью.
Тем часом появляется уборщик
с помощниками, и все трое машут
тебе и в небо тычут: *«Gaviotas!»*.

И двор, в момент исчерченный тенями,
что мечутся везде и отовсюду,
трещит от хлопанья десятков крыльев
и мельтешит, как фильма из архива.

Налётчики заливисто голгочут,
бьют ластами по пластиковым лавкам

и склёвывают щедрые объедки,
разбросанные на столах едальни.

Для чистильщиков это вроде спорта —
вода поспешно зашипела в шлангах —
задача: сбить кусок струёю ловко,
желательно у птицы из-под носа.

В конце концов, несолоно хлебавши
и возмущаясь пресностью приёма,
налётчики отряхивают с крыльев
обрывки радуг и взмывают в небо.

Ты провожаешь взглядом белых чаек
и чувствуешь под горлом лямку службы,
загнавшую тебя хрипеть в пустыне,
батрачить головы не поднимая.

Уборщики, смеясь, уносят мусор —
как скажешь им на ломаном испанском,
что чайки над пустыней — подтвержденье
пленительной распахнутости мира?..

*«Всего лишь тридцать миль до океана...*
*всего лишь час езды туда-обратно...*
*смешно сказать, полгода не был...»* —
бормочешь ты, включая зажиганье.

**МОЛИТВА**

Любуюсь на чужое небо
и об одном молю Творца:
— Кто бы ты ни был, бог иль небог,
дозволь до мрачного конца
поцеловать родные лица,
прижаться к ним... — и аз воздам!
И что должно со мной случиться,
пускай со мной случится там.

* * *

*Ксении*

Запиши мне голос свой по случаю, —
пересылка не займёт и месяца —
получу я почту и послушаю
всё, что на зеркальный диск уместится.

Выйду я к воде и, глядя пристально
на пространство за её пределами,
отделюсь от опустевшей пристани,
вслед за облаками поределыми.

Я дождём прольюсь на эти площади
и трамваи, что звенят на записи;
я травой пробьюсь в ожившей рощице,
где ручьи весной гоняют взапуски;

суховеем пронесусь под окнами,
наполняясь гомоном и говором,
чтоб в ответ сложить тебе подобное
что-нибудь для голоса и города.

* * *

Московские ночи. Мужской приключенческий зуд.
Империя в прошлом, остались гетеры и термы.
У варваров кудри черны и жирны, как мазут,
а речи — Везувий в момент извержения... спермы.

Империя в прошлом, как этот минувший четверг.
Бездомные спят под землёй при искусственном свете.
И если Господь эту грешную землю отверг,
то нет и греха, ибо мы перед ним не в ответе.

Остались гетеры и термы, и страх пустоты,
живые тела под землёй, на картонной делянке...
Ко гробу империи варвары свозят цветы,
и медные трубы выводят «Прощанье славянки».

## ПАМЯТИ КОСТИ БЕЛОКУРОВА

Приёмные дети Великой Победы,
любимые старшие сёстры и братья,
нам, младшим, за вами донашивать кеды,
фуфайки, чулки, перешитые платья;

за вами восторженной тенью спускаться
в заветные дебри запретных развалин,
за вашей спиной, не дыша, любоваться
на бархат и белый металл готовален,

когда коммунальные быт и квартира
взмывали куда-то за циркулем вслед, и
просторные стогны грядущего мира
творили вы, дети Великой Победы.

И где? среди дровяников и бараков,
в скуде-лебеде володенья щеглова,
разрозненный строй исковерканных знаков
слагался в живое певучее слово.

И я, как сейчас, голоса ваши слышу,
и взгляд среди неузнаваемых кровель,
всё мнится, найдёт голубятню на крыше
той самой... Спасибо, родные, на слове.

* * *

*Отцу*

Ты припал к стеклу заплаканным лицом —
там закат своей прощальной красотой
поделился с провожающим отцом,
а тебе — катиться прочь сиротой.

А тебе, незвану к отчему двору, —
помнить копоть на задраенном окне
и последний луч, упавший в Ангару
и дрожавший, словно жар в головне...

А тебе — шептать ночами в пустоту:
«Мы увидимся; ты только доживи!» —
ощущая привкус копоти во рту
от обугленной сыновней любви.

* * *

Будто топчется кто у порога —
дверь откроешь, за ней только дождь —
колобродит по дому тревога,
и ничем-то её не уймёшь.

Что ей скудные наши посулы
и попытки втянуть в разговор —
чешет, шельма, кайсацкие скулы,
пялит мокрые бельмы в упор.

А ночами скрипят половицы,
и бормочет кто, словно в бреду, —
может, сладим с незваной жилицей —
не накликать бы часом беду.

* * *

К полуночи барахлом
своим загрузив фургон,
ты выйдешь, оставив дом,
и дом погрузится в сон.

Надежды, что жили в нём,
по голой сползут стене
и ткнутся в дверной проём,
закрытый тобой извне.

Пронзительная, как дрожь
сквозь уличную листву,
догадка мелькнёт:
— Ну что ж,
ты весь теперь наяву,

как вольные тополя,
как воля снести нужду
и снова начать с нуля
на сорок седом году.

**МОХАВЕ**

*Ирине*

Ни пажить, ни пашня — а пустошь
да дряхлые в корень ростки...
Глаза свои долу опустишь —
лишь ветер гоняет пески.

Пространство, где время не длится —
как будто в сердцах Саваоф
повыпростал здесь до крупицы
всю меру заветных часов.

Не здесь ли, среди этой суши,
по-над пересохшей рекой,
кочуют сейчас наши души,
пустые одна без другой?

## МОТЕЛИ

*Владимиру Елизарову*

Наконец-то мотель в Аппалачах,
после долгой и трудной дороги,
всё же найден, и номер оплачен;
и теперь можно вытянуть ноги,
растереть своё тело под душем,
щёлкнуть пультом в колодец экрана
и чету безответных подушек
смять, как барышень из ресторана.

Стол и дом среди чистого поля,
жидкий кофе в постель спозаранку —
эх, Америка, платная воля,
одноразовая самобранка!

## ХОЛОСТЯЦКАЯ КВАРТИРКА

О четырёх стенах сквозняк,
неугомонная возня
портьер шероховатых
да треск сорокаваток.

А в смежной комнате лежак,
да шкаф, да стол, да кавардак,
да женщина, что снится
до скрипа в половицах...

**В ТАВЕРНЕ**

Удивительно: здесь не зазорно глупеть
и, глаза закатив, колыхать головою,
и, забравшись под платье подруги на треть,
на две трети столь явно остаться собою.

Я слежу за движеньями тел и голов
молодых и не очень, и вовсе не юных
представителей двух, столь различных полов —
и мне видится берег и сосны на дюнах;

и соседку с английским её языком,
столь призывно ласкающим пену пивную,
постепенно заносит хвоёй и песком,
и я больше её ни к кому не ревную.

На губах горьковатая свежесть хвои,
я плачу́, насмотревшись на плечи и выи:
— Да пребудут, Создатель, творенья твои!
И хозяин с улыбкой берёт чаевые.

## ПТИЦА-ПЕРЕСМЕШНИК

*Л. Лосеву*

В ночном овраге, на кривой орешне,
невидимая птица-пересмешник,
собрав по нотке многошумный мир, —
что твой шаман, шальной от мухоморов, —
минуя сеть воздушных коридоров,
выходит из себя в живой эфир.

Не утихает шебутная птица,
витийствует, глаголет во языцех,
и чем призывней крик, тем гуще тьма.
Стекается в овраг немая паства...
Туши, приятель, свет, глуши лекарство —
и эта ночь негожа для письма.

Ну что попишешь, если ты на юге,
где ночь короче памяти подруги,
забывшей возвратиться в этот дом,
и неотступней памяти о ней же,
но если запоёшь «*Tombe la neige*»,
ответит пересмешник за окном.

Ползёт туман по стихшему оврагу,
за падью — степь губами ловит влагу,
облизывая пересохший рот,
когда проходишь ты походкой лёгкой
за музой, аполлоновой полёвкой,
посульщицей неслыханных щедрот.

* * *

Ночь собирает былых обитателей в сонных кварталах предместья:
цокают когти койотов вдоль цоколя здания почты;
духи вождей кумейай восстают и с призывами к мести
мечутся по мостовым в тщетных поисках дома и почвы.

Войско их, слившись с туманом, льнёт к окнам темнеющих спален,
кружит вокруг дымоходов, росою кропит черепицы...
Память — что насыпь напротив — хоронит останки развалин —
не потому ли тебе, как и духам, ночами не спится?

Что ожидает тебя кроме горького дыма за дверью,
кроме дрейфующих призраков на верховой переправе?
Вёсла бесшумно мелькнут, и толчки застучат в подреберье.
Время идёт круто вверх, и шуршит вниз по насыпи гравий.

* * *

*Майе*

Здесь у меня, кроме любви, — ничего.
Тем и живу. Так и люблю — в одиночку.
Хочется думать, в этом и есть существо
плана Творца, давшего душу в рассрочку.

Меньше всего склонен я бить себя в грудь,
что-то просить, что-то ломать или корчить;
руки на вёслах, вёсла в воде — как-нибудь
я доплыву, чтобы ни вытворил кормчий.

Всё к одному: всем нам куда-нибудь плыть
по облакам или по-над облаками...
Близится даль... Только бы не разлюбить!..
Тем и живу. Между двумя берегами.

* * *

Рождённого средь вечной мерзлоты
знобит — чем глубже в ночь, тем ощутимей;
сны тягой неуклюжей налиты,
как лес во время сплава на Витиме.

Жизнь растеклась в погоне за теплом,
и русло утром благостно и ровно,
покуда одиночество багром
не шевельнёт притопленные брёвна.

## ЗАТВОРНИК

— «Затворник бурый», «скрыпник долголапый»[5]
зовётся он, твой постоялец тайный,
свой хищный шёлк сучащий тихой сапой
между каморкой платяной и спальней...
— Запомни: он посланник тьмы! — у дверки
брось конский волос да кружок латуни... —
шептала ворожея в Альбукерке
про дом, куда я въехал накануне,
за сотни миль от местного меркадо[6],
ажурных кровель в мавританском стиле,
от этих плит саманных, чья прохлада
пугливей немигающих рептилий.

— Представишься и, не снижая голос,
промолвишь оберег трикраты, без ошибки;
после чего он примет конский волос
и дом оставит — для заплечной скрипки
смычок искать отправится в потёмки...
Латунь же спрячешь в место поукромней...

— Вон, видишь «пряжу» на своей котомке? —
Такую только смерть сучит — попомни!
. . . . . .
А в доме — память затевает прятки,
и я хожу, как дух, едва ступая:
то здесь, то там висят седые прядки —
углы тесовые... судьба слепая!..

---

[5] Коричневый паук-отшельник (лат. *Loxosceles reclusa*), укус которого смертелен. Спинная сторона головогруди обычно несёт тёмный рисунок, напоминающий скрипку; отсюда и другое имя: «паук-скрипач» (*прим. автора*).
[6] Рынок, базар (*ист.*).

## РУССКИЙ ПАРИЖ

*А. Корлякову*

Друг засыпает за грудой бумаг из архива —
перемещается из наступившего в прежний
век, и как будто в угоду ему, терпеливо,
снег засыпает Монмартра людские скворешни.

Хлопья, мелькая, теряются в пляшущей дымке;
свет фонаря наплывает волной из-за шторы,
и, доплеснув до судов на любительском снимке,
долго качает их прочь, от Керчи до Босфора.

Из дневника: «Снегопад. Словно занавес дали.
Берег померк, а скитанье — развязка без вычур...»
Два циферблата зажглись на Лионском вокзале —
лупит неясыть глаза сквозь метель на добычу.

Все мы отмечены здесь этим гибельным взглядом,
даром что странник не носит с собою ночлега.
— Как избежать?.. — говорю я заснувшему рядом, —
Разве что только во сне, разве только под снегом...

## НОВЫЙ КИТЕЖ

Проснёшься ночью в Новом Орлеане —
на потолке, как будто на экране,
играет отражённая вода;
сквозь щели, с Поншартрена[7], тянет вонью,
покуда ты кумекаешь спросонья:
«Какого хрена я попал сюда?!»

Мигрень. Сверчок зашёлся в брачном кличе —
своей членистоногой беатриче
нажаривает, не щадя смычка;
и ты, как в притче про заблудших кукол,
швырнёшь башмак в неугомонный угол,
пригубишь ствол за упокой сверчка;

и много лет спустя, таращась в телик,
припомнишь о похмельной канители
и безотчётном страхе утонуть,
узнав по ковке бронзовых бретелек
затопленную вывеску отеля,
сходящего в нахлынувшую муть.

[7] Озеро, точнее лагуна, в Новом Орлеане (*прим. автора*).

## САНТА-БАРБАРА

*Ю. Казарину*

Вслед за китаянкой, чьи глаза под
чёлкой прячутся, что детвора за шторой,
я гляжу на юго-юго-запад,
и досужий взгляд уже в который
раз минует снасти сухогруза,
паруса рыбачьих лодок, но за
ними скрылся берег Санта-Круза,
и цветёт незримой Санта-Роза;
взгляд, не находя себе препятствий,
не страшась упрёков в верхоглядстве,
бродит за волной белобородой,
полнится водою и погодой.

## ПРОЩАНИЕ С МАРСОМ

Прощай, соглядатай моих воспарений над клетью
балкона, застрявшего в зарослях вечного лета.
Когда ты вернёшься спустя два с лихвою столетья,
не взмою к тебе по волне красноватого света.

Как всё во вселенной, я стану рассеян с годами;
не звякнут цепочек молекул несвязные звенья,
когда, померанцевым шаром взойдя над холмами,
объявишь потомкам моим о своём появленьи.

Сегодняшней ночью не ты, но холмы в ореоле
разящего зарева, и оттого нестерпимо
желанье продолжить доставшийся мне поневоле,
горящий отрезок живой между домом и дымом.

* * *

*«Где-то хоры сладкие Орфея*
*и родные тёмные зрачки...»*

Мелькнув, растаял хоровод теней;
Поля пусты и перелески голы —
не здесь ли, неутешный мой Орфей,
спрягал ты невозвратные глаголы?

Не оттого ль, пожизненно живой,
ты за собой водил повсюду скалы,
чтоб та, что за рекою межевой,
тебя в тиши земной не выкликала?

Не потому ль исхоженная пядь
твой шаг тревожит мыслью о подмене,
что не забыть эребовы ступени
шагавшему по этим плитам вспять?

А широко распахнутый ландшафт
сорвёт твой голос, будто с петель двери...
Уймёшься ли, бездомный аргонавт,
за самоволку списанный на берег?..

# II

**ОКНАМИ НА СЕВЕР**

1.
Холодный дом на площади Труда;
поодаль — маслянистая вода
колышет окон жёлтые квадраты,
и в свете, исходящем от воды,
казённых коек смутные ряды
всплывают в гулком сумраке палаты,
где ты лежишь, тоскуешь и не спишь.
Взошли огни агиток и афиш;
проспект, пустея, льнёт к витринным стёклам;
и света сноп в троллейбусе двойном
промчится прочь и возвратится сном
о чём-то невосполненном и тёплом.
Во сне — ты вновь с родными, но они
не знают, что вечерние огни
таят в себе твою тоску по дому,
твоей руки трассирующий след,
писавшей им без малого пять лет
печатными по воздуху ночному.

Но утром нет ответного гонца —
под небом цвета сланцев и свинца
туман белёсый стелется по скверу;
зависшие в просветах фонари
свой жар бесследно спрятали внутри,
и ты поспешно следуешь примеру.

2.
Уже в палате гомон и возня;
в окне раздачи — каша-размазня;
внизу, в передней, высохли обутки;
и, значит, в пору выступать в поход —
твой самый долгожданный отдых от
продутых коридоров круглосутки.
Ещё бы! — восхитительный овраг

влечёт к реке; а поверху барак[8]
волочится за величавой башней,
как рваный шлейф за пленною княжной,
и обдаёт благою стариной,
а то и дарит денежкой тогдашней.
Но стоит повернуться на восток —
вечнозелёный «Каменный цветок»[9]
совсем иной державы воду дыбит,
с её пустопородным языком,
воздвигшим, в частности, УралОбком,
конструктивистский параллелепипед,
в котором ... расположен интернат
как в доказательство победы над
достоинством и духом частной жизни.

Иных домой родные заберут,
другим — взглянув им вслед, смотреть на пруд
подкидышами в дремлющей отчизне.

3.
Ты их услышал школьником, в гостях;
сквозь треск и натиск буги «на костях»,
в магнитном поле подростковых танцев, —
и говор их, доступный им одним,
предстал тебе, как новый Серафим,

---

[8] В описываемую пору, самое начало 1960-х, «Плотинку» ещё не заткнули в каменный мешок Исторического сквера, так что заросшие травой склоны привольно скатывались к реке; в то время как цеха монетного двора тянулись цепочкой жилых бараков по левому берегу Исети, отделённые от парковой дорожки на улице Горького живой изгородью и глубоко затаившейся в этих зарослях канавой. Почва вокруг этих живописных полуразвалин изобиловала разнообразными медными монетами — «отходами» процветавшего там некогда производства (*прим. автора*).

[9] Название действующего на площади Труда фонтана в виде крашенной зеленью железобетонной «друзы» (*прим. автора*).

взглаголавший на языке британцев
и тем открывший потаённый код,
покуда ты стоял, разинув рот,
пылая, словно лампы радиолы,
от зуда ухватить звучанье слов,
летавших между двух выпускников
прославленной языковой спецшколы.

И вот уже привычный мир окрест
менял свой ритм, сметая с прежних мест
понятия, как бы в угоду звуку
приёмной речи, бойкой сироты,
причуды чьи в тот вечер принял ты
за бог весть что и... выкликал разлуку.
Но та настигнет позже, а пока
ты выбираешь тропы языка,
что превращают гнёт пережитого
в удобно управляемый балласт:
ведь речь, она не бросит, не предаст,
а синтаксис — надёжно сдержит слово.

4.
Морозным утром, ставни отворя,
зажмуришься — под солнцем января
играет снег сиреневой искрою,
синеет свод в заснеженном краю —
окликнешь ты любимую свою,
да где там... только пар над Ангарою.
Заплачешь, запечалишься о ней,
в туман уткнувшись, где среди теней
вдруг оживёт забытая картина:
семейный стол, и — странно — так на нём —
узлы с посудой, книгами, бельём
отца, бурчащего мотивчик Робертино...
Сейчас он встанет, подхватив узлы,
и вслед за ним белёные углы

жилья бесшумно вылетят наружу...
И вот, после приютов и общаг,
чадит твой наспех сложенный очаг
на берегу реки, что даже в стужу
не сдержит свой неотвратимый ход;
нещадной тягой ледовитых вод
тревожит чад Иркутского острога,
разводит их по разным берегам...

Ты — за порог, а там, прильнув к ногам
твоим, легла и ждёт тебя дорога.

5.
Десятки лет (и адресов) спустя
затерянное в памяти дитя
означится отчётливо и остро
во всём своём сиротстве на миру,
когда, вновь не пришедшись ко двору,
ты попадёшь на этот полуостров,
один как перст, с потрёпанной сумой;
и прозвучит «возьми меня домой!»
на языке, что постигал на слух ты...
А встречу — тросы Золотых ворот[10],
и прямо под ногой — водоворот,
огни и пена Сан-Францисской бухты.
Знобит тебя; внизу — волна вихром.
«Тоска там... тишина и монохром —
не светит ничего там, в мире лучшем...» —
кричишь ты против ветра над мостом,
косматый, как античный хризостом,
вотще взывающий ко всем заблудшим.

*2010—2011 гг.*
*г. Сан-Диего, Калифорния*

[10] Название висячего моста через одноимённый пролив; печально известного как место частых самоубийств (*прим. автора*).

* * *

Падали впотьмах лепестки
хризантем на мокрый песок,
и наутро, вышедши в сад,
обнаружил он на песке
письмена, печалью своей
жалобам осенним сродни;
словно уходящая жизнь
подводила скорбный итог,
оставляла след на земле —
поздних хризантем лепестки.

# III

## СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

**SANTA ANA**

And I went to the shore, still pretending that I did not care,
as if really our yelling mismatch could be fixed with alcanna;
and I gazed at the waters while someone was tousling my hair —
just like you used to do... but I knew that it was Santa Ana.

Am I lost in the past, the sepulchral transparent maze?
The horizon was lucid and deep like the voice of a prophet:
*"Set your soul on the gale; watch the gale set the mountains ablaze;*
*Blame it on Santa Ana, who's leaving you nothing to scoff at."*

I could still hear the voice when the kisses of dry, searing lips
filled the quivering air with insane and insatiable craving;
California lay like a set of the Apocalypse,
and the ocean was helpless to still down her moaning and raving.

And the gusts of the future compassed me about with their fire,
burning down all the memories I had been nursing for years.
Was it ashes or butterflies, brought on in scores from afar,
or the shreds of the mourning, the perishable souvenirs?

## MANHATTAN

*To my mother*

### 1. Towers

A black-and-white movie, a dream of a fatherless child,
each time when I see you, your lights are dispersed by my tears;
the memories coil at my feet, like a film running wild —
my towers of babel, unable to raise up their tiers...

I dreamed I was Jason, escaping the chase, with the Fleece;
the nights at the orphanage, endless and dark and unfair,
were making me strong, though never enough to release
my beautiful mother from nightshifts bound to the conveyer.

I dreamed I was Dylan on stage, with the cats from the Band;
our sound had been laden with passion and heavenly power.
*"The times are a chain..."* So are guards; now I do understand
the watchman got blind, and his was an ivory tower.

I opened my eyes; the lights changed from amber to green;
the Cheesey Hotel was right there, so I paid my companion
and looked at my watch: almost noon, but the sun wasn't seen —
it's always like this, at least, on this side of the canyon.

### 2. Razlooka

If love is the fickle and flickering light in the dark,
then I was the sky, and she was the star... no, the comet —
the scars in my heart are the marks of her fiery arc —
whenever she went, she went on the spur of the moment.
You cannot but notice her ways, but you cannot foretell...
And now all the sky, all the space she has made and deserted,
is starless and stuck inside this Manhattan hotel,
with billows of pressure that rain clouds have ever exerted.

"I wish I could fly to follow her far and away,"
I nearly fainted. I had to get out of there.
Much later, the waitress I met in a funky café,
turned gold in the streetlights that shed in from Washington Square.
As thirsty as earth that's longing for showers to quench
her april desires to survive and surrender and blossom,
she whispered her verses to me in Canadian French,
her lips slightly opened — she seemed to enjoy playing possum.

I called her a Russian nostalgic, melodious word,
I called her Razlooka, a feeling when farewell's bidden;
for our departure was destined — if only deferred! —
we were on an island, and islands are lachryma-ridden.

**3. The CT**

*"Strawberry fields forever..."*

Like isles in the ocean, some eyes in the stream of the crowd
are sparkling with promise of sympathy, comfort, and care;
as if you can enter the space where nobody's allowed,
but you, who's been missing and found as to match up the pair.

I've drifted through eye-lands and I-lands; I've gone through the hoop,
and I've found my spirit afloat and in love with the CT,
her I-cons and R-tists, her P-ple — her alphabet soup —
no wonder, the Ultimate I-lander found her so witty.

The best place for mind games... He thought it the best place to live...
That train in the distance still whistles and runs to the coda...
*"He's taken that train,"* I sighed as I looked through the leaves
of planes till I made out the verdigris roof of Dakota.

**4. Departure**

When stars were awakened by thunderous crash of the rift,
the Spirit of God had been gone from the face of the waters...

A scatter of myriad islands were moving adrift,
and we were predestined to deal with departures and borders.

So, fix me a Stoli, Razlooka; I'll go for a shot.
And here's to Manhattan, rodnáya![11] — just look at those scrapers;
across the East River, they rise from this hot melting pot,
with St. Elmo's fire atop of the eerie vapours.

[11] "my dearest, closest one" (*Russian, fem.*)

**STANZAS TO CEDAR**

*To my children*

Look, evergreen, time has sprinkled some gold on your mane.
Has water turned to Goldschlagger today on Potrero?
Happy New Year to you, neighbor, and welcome to pouring rain.
As for myself, I've got perfectly soaked to the marrow.

Streets are all steaming, like horses when crossing a stream —
glistening croups waving over in vigorous motion.
This is the night when the old year has hit the extreme.
So have the torrents that vanish beneath in the ocean.

So has my life. But a berth gives a chance for rebirth...
Isn't the fleet on its way to the bay, evergreen, eh?
Here, where the salts of the sea meet the salt of the earth,
everything changes, and winds keep on turning the spinner.

Wish I could murmur the nebulous language of leaves;
I would have learnt how to sleep through the winter of losses.
All we can see is a scatter of hieroglyphs —
God must have hidden the clues and omitted the glosses.

Wish I had roots that would keep me from rolling around.
Wish I had branches to shelter my shoots when it pours.
Same as you do, with your seeds on the quivering ground;
Meanwhile the stars play and dance in the needles of yours.

# IV

## ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

**LONGING**[12]

If I were the raven, a bird of the lea,
  Who has just flown up high over me!
If I could go up and soar freely above!
  If that freedom were my only love!

I would have torn westward, away from the gloom,
  Where my ancestors' moor spreads in bloom;
Where the castle, forlorn on the fog-shrouded crest,
  Guards their bygone remains' final rest.

Their shield on the wall gathers centuries' dust
  By the broadsword, abandoned to rust.
My wings would have beaten against the arms hoared,
  Driving dust off the shield and the sword.

I would have struck softly the clársach's string,
  And its sound to the rafters would spring;
Produced by the lone one and heeded by one,
  It would only emerge to be gone.

Still, hollow are hopes, and unhelpful are pleas
  To resist the predestined decrees.
Between the green hills of my homeland and me
  Lies a billowing outspread of sea.

The last living scion of valorous knights
  Has succumbed to the foreign cold bites;
My birthplace is here, but my soul's undeterred...
  Oh, if I were that moor-bound bird!..

[12] Желание, 1831.

**THE SAIL**[13]

A lonely sail of white is soaring
Amid the blue haze of the morn —
What's there he seeks in quarters foreign?
What's there at home, he's left forlorn?..

There play the billows, blows the wafter;
The mast is creaking and asway...
Alas, it isn't bliss he's after;
It's not from bliss he flees away!

Beneath him streams the azure clear,
Above — a sun ray, gold and warm...
He woos a storm, a mutineer,
As if there's peace in any storm!

[13] Парус, 1832.

**A MUSE**[14]

With solemn eyes I muse upon my generation!
Its fate reveals itself as hollowness or haze;
While weighted down with learned lore and dubitation,
In indolence we'll age before our days.
As infants, we inherit heavy coffers
Replete with fathers' flaws and their retarded wit;
Our life, an aimless ride, has bored us with its proffers,
Like feast at someone else's treat.
Abjectly nonchalant to good and evil,
In pursuits languish we before we raise our glaives;
Once time of peril comes, our coward spirits shrivel;
Appears a potentate — we act like wretched slaves.
Likewise a fruit, untowardly fore-seasoned —
Unfit to gratify the palate or the eyes —
Among the blooming boughs, it hangs alone and wizened,
And their resplendent moment is that one's demise.

We've desiccated intellect by void ideas,
Concealing enviously from our kith and kin
Our cherished sympathies and each impassioned plea, as
Mistrust has taunted them, to our chagrin.
We have but barely shared in the cup of pleasure,
Yet that has failed to spare young impetus;
We've skimmed the best for good — lest we'll exceed all measure —
From each delight available to us.

Conceits of poesy, creations of belles lettres
Can't blissfully exalt our wits, nor can they move
Our bosoms, where we guard the last remaining tatter
Of sense, a well-concealed and useless treasure-trove.

We feel aversion and affection — on occasion,
Making no sacrifice to malice or desire;

[14] Дума, 1838.

Our souls are growing numb under some cold invasion,
While our hearts are pumping fire.
And not for us drags on grandfathers' sumptuous revel,
Their undissembling, infantile debauchery;
And neither fame nor bliss escorts our hasty travel
To dust — but our scoffing spree.

Thus bound for quick oblivion, umbrageous,
We shall traverse this world without a splash or trace,
Without a fecund thought of ours flung down to ages,
Without a single work inspired by grace.
And thus a scion, stiffened by a public spirit,
Will cast a scornful verse down at our dust disgraced,
As bitterly as some defrauded son will sneer at
His spendthrift father gone to waste.

**A COSSACK LULLABY**[15]

Sleep, my baby, sleep, my dear,
Hush-a-hushaby.
In your crib the full moon peers
Softly from the sky.
I will tell you some good stories,
Sing a lullaby;
Close your eyes; it's time for snories,
Hush-a-hushaby.

In the rocks, there streams the Térek;
Muddy billows bang;
Chechen whets his knife Tartaric,
Crawling up the bank;
But your father is a warrior
With an eagle eye —
Sleep, my baby, do not worry,
Hush-a-hushaby.

Time will come; you'll know the battle
Life, my little one;
I'll embroider then your saddle;
You will take your gun.
Many enemies you'll hit hard
As the time goes by...
Sleep, my darling, sleep, my sweetheart,
Hush-a-hushaby.

You will grow a stalwart Cossack
Looking brave and grand;
When I see you off — from horseback
You'll just wave your hand...
On that night, God knows, how many

[15] Казачья колыбельная песня, 1838.

Bitter tears I'll cry!..
Sleep, my angel, sleep, my honey,
Hush-a-hushaby.
I'll be waiting through despair's
Never-ending blight;
I'll repeat my heartfelt prayers
Through the day and night;
I will dread that you do languish
Far from homeland, ay...
Sleep before you are in anguish,
Hush-a-hushaby.

To remind you of the bygone
Happy days at home,
I will give the holy icon —
Keep it when you roam;
Think of me before severe
Fighting flames up high...
Sleep, my baby, sleep, my dear,
Hush-a-hushaby.

**<VALERIQUE>**[16]

This note to you is just a matter
Of chance; indeed, I have no clue
How come I write, and for that matter,
What would I tell you? Nothing new.
You're on my mind? Good Lord! No matter
How oft I told you that before,
For this, you've never cared a straw.

Nor do you really need to wonder
How I get by? In what dread holes?
Our souls have always been asunder,
Yet hardly are there kindred souls.
As I peruse my yester pages,
With sober mind that disengages
Itself from heart affairs galore,
I'm disenchanted all the more.
Is it not ludicrous for heart to
Deceive itself out of despond —
It should have rather fooled the monde!
Besides, what good is it to hearken
For that which rests in the beyond?..
To count on love despite the distance?
These days all feelings are but brief;
Yet I still miss you — this persistence
Of memory gives no relief!

For one, I've loved you beyond measure
And for so many long a day;
Then for the flitting hours of pleasure,
With strain and torment would I pay;
Then feeling barren with repentance,
I dragged my life as if through mud;

[16] «Я к вам пишу случайно; право. . .», 1840.

And my cold reasoning, with vengeance,
Had nipped life's last remaining bud.
Discreetly making new advances,
I bade my prankish youth adieu,
Forgetting love and verse — but you
Left my forgetfulness no chances.

Once grown accustomed to this charge,
I bear my cross without a grumble:
One or another way to humble? —
Life chooses any, by and large.
I — like a Tartar or a Chechen —
Embrace whatever fate may fetch in;
I don't pray God for bliss, nor will
I say a word, enduring ill.
Perhaps, the Eastern heavens' riches
Have taught me what their Prophet teaches,
But inadvertently. Besides,
The camp life, its peregrinations,
Its toils and troubles, days and nights,
Discourage any contemplation,
But give the wounded soul the peace
Of early days: the heart's at ease;
No room for fantasy to ramble...
No workload to engage the head...
Here, in the luscious grass, instead,
You slumber in the shade of ample
Chenárs or grapevine; all around
The tents strew out the white of theirs;
In rank stand Cossacks' scrawny mares,
With their muzzles to the ground;
The aides doze by the cannons brazen;
The fuses barely smoulder on;
In pairs, the guards line over yon;
Their sunlit bayonets are blazing.

I hear a campsite story told
About the glory days of old:
How we campaigned under Ermolov[17]
In Chechnya, on Avarian slopes,
And how we fought and beat them hollow
And how they made us learn the ropes;
Not far from here, by the river,
I've spotted a devout believer;
A loyal Tartar offers his
Namaz[18] while peering down his knees;
There in a circle sit his fraters —
I like their hats and flapping sleeves,
And their complexion — one believes
To look like yellow leather gaiters —
Their dusky eyes alight with pawk[19]
And their bursts of throaty talk.
Lo — cracked a shot from far-off quarters!
A stray one whizzed... a lovely sound...
A cry — then quiet all around
Again... Now it's the time to water
The horses, for the heat is gone;
The infantry stirs back to action;
One horseman's dashed, another one!
Commotion. Where's the second section?
Are we to load? — Will Captain come?
Pull out the carts ahead; don't hinder!
Savelyich! Aye, sir? — Give me tinder! —
"Assembly" bursts out of the drum —
The regimental marches blare;
The cannons' jangle fills the air.

---

[17] Aleksey Petrovich Ermolov (1772 – 1861), a celebrated Russian general, who, from 1818 on, conducted military operations in the Caucasus. He proved an able administrator. Retired in 1827.

[18] Persian term for prayer, which is *salat* in Arabic.

[19] Trickery, cunning device; (an) artifice [northern dialect and Scotts].

Meanwhile, the general has led
His retinue full tilt ahead...
Like bees, across the wide expanses
Of the plateau have spread the troop
Of Cossacks crying out their whoop,
The pennons waving on their lances.
There, in a red Circassian coat,
With turban on, and looking larger
Than life, a Murid splits the throat
Atop his restless light-gray charger —
Is there a brave one to combat?..
Lo and behold, there flashed a rifle;
A Greben[20] Cossack's cocked his hat
And swiftly torn into the rival;
Anear... a shot... a whiff of smoke...
Hey, help him out, stanítsa-folk[21]...
How? Wounded!.. — Not too much to hustle...
And here it comes — a shooting tussle...

And still, these feats of derring-do
Amuse a lot, accomplish little;
And we would revel in this skittle[22]
At dusk, before the evening dew;
Unruffled, we would watch a fierce
And gory danse macabre rage;
Yet I have been to some premieres
That your playhouses wouldn't stage...

One such engagement came to happen —
We scoured the forest by Gekhée;[23]

---

[20] In old Russian, "greben" means" (mountain) ridge"; thus, Grebenski, or highland, Cossacks.
[21] Stanitsa is a large Cossack settlement.
[22] Nonsense
[23] A small Chechen aul, or settlement.

All day, the shining vault of heaven
Breathed fire through the canopy.
We had been warned of all-out violence.
From the remote Ichkérian[24] highlands
To Chechnya, thousands, I surmise,
Had rallied to the battle cries.
The beacons flickered everywhere
Above that dense primeval wood;
The smoke of theirs, like pillars would
Rise up and billow in the air;
Anon the wood appeared to thrive
On haunting howls that came alive
Beneath its verdant outerwear.
No sooner had the convoy reached
The clearing, fight broke out; some screeched
For cannons needed in the rear;
Some fetched the guns and other gear;
Some dragged the wounded by their feet
And called for doctors from retreat;
Aleft, from where the thicket clears,
Comes an attack on cannoneers;
And from the tree-tops pours a hail
Of bullets on our troop. Howe'er,
Ahead, all's quiet — 'cross the dale,
A stream cuts through the brush. Right there
We move. We toss a few grenades,
Advance some more — no counter-raids;
Lo, neath the felled logs in the thicket,
Apparently, a gun has flicked;
There seemed to flash a hat or two,
Then grass has hidden them from view.
It was quite menacing quiescence,
Nor did it linger very long,
Yet this suspense, so quaint in essence,

[24] Ichkéria — Eastern region of Chechnya, bordering Daghestan.

Made more than one heart feel its prong.
A salvo... Look: the ground is lined as
It were with men — So what? our vets
Are seasoned... Close with bayonets!
Attack 'em! — cried a voice behind us.
Blood went ablaze inside the chest!
The officers lead all the rest...
Each who's still mounted stuns and staggers
Those at the abatis a-horse...
Hurray — then silence. — Butts and daggers! —
The mêlée bursts out, torse to torse.[25]
Two hours straight, in streaming water,
The fighters asked and gave no quarter,
Just battled wordlessly, like beasts;
Dead bodies have choked up the torrent.
To scoop some, I unclenched my fists...
(The fight was cruel; the day was torrid)
Cold water would have cooled my head —
It was lukewarm, though; it was red.

Across the stream, behind the primer
Line of defence through which we broke,
A circle formed beneath the oak.
And kneeling there was an old-timer;
The face expression of the peers
Was solemn, rough; yet silent tears
Dropped down from their dust-covered lashes...
Below, an overcoat was spread
To make their captain's dying bed;
Two bleeding wounds, two little dashes
Of black, could barely catch the eye;
His wounded chest, though, heaved too high,
Too heavily; his gaze would wander,
As, in a rasping voice, he said,

[25] torso

“Bro, they are dragging me up yonder.
No, help the general instead...”
He kept on moaning as he bled,
“But tell me where, for goodness sake, are...”
Then breathed his last and met his Maker.
Propped with their guns, the service-folk,
These grey-moustachioed men of mettle,
Wept silently under the oak...
Then his remains after the battle
Were gently covered with a cloak
And fetched away. And left to languish,
I watched them go, transfixed with anguish.
Survivors meanwhile called the roll;
When no one answered, sighs would follow;
Yet no regret was in my soul,
Nor sadness either — it felt hollow.
Then all got quiet, and the dead
Lay piled up, while in steaming red,
Blood flowed upon the pebbles there;
Its heavy vapours filled the air.
Our general sat in the shade,
Upon a drum, while new dispatches
Were trickling in after the raid.
The wood was blue with floating patches
Of lingering gunpowder smoke.
And yon, as far as eyes could trace it,
Rough, yet forever proud and placid,
The mountain range spread — and Kazbék
Had lifted its bedazzling brow; and
In sadness, private and profound,
I pondered on: a feeble fleck
Of flesh. What drives him!.. sky is clear;
There’s room for all under the sky,
Yet, with vain enmity besmeared,
It’s only he who rages — why?
Galube broke in on my vexation;

He slapped my arm, as kunáks[26] do,
And then I asked him if he knew
The native name of the location.
And he responded, “Valerique,
Which, in your language, means ‘a creek
Of death’—apparently, forebears
Had known too well what was at stake.”
— How many men today were theirs?
— Some seven thousand, give or take.
— How many fell on the battle ground?
— Who knows? — But why did you not count!
“They won’t forget it,” someone said,
“This gory day will ever fester!”
The Chechen squinted like a jester
Without a word and shook his head.

But you may find it all a nuisance:
Amidst the smart-set larks galore,
Grotesque are brutal strains of war;
You’re not accustomed to the musings
On the inevitable end;
Methinks, your features do not lend
Themselves to any trace of drear;[27]
They stay so radiant and clear
That it’s unlikely you’ve been near
Somebody’s deathbed. God forbid
That you should ever be, indeed,
With other trouble in the making.
Would it be easier to keep
Oblivious and fall asleep
In hope of soon-to-be awakening?
Goodbye then; if my artless tale
Succeeds in effort to regale,

[26] In the Caucasus, “kunák” means “buddy; a good friend.”
[27] Sadness, gloom.

To break in on your melancholy;
I shall be happy. And if not? —
Then please forgive me for the folly
And say under your breath: crackpot!..

**TESTAMENT**[28]

I want to take you to one side,
If you don't mind, my friend;
They say there's not much time to bide
Until I meet my end!
You're heading home to see your wife,
So, look... But why? about my life,
To tell the truth, not many
Would give a straw, if any.

And if some have an interest...
No matter who they are,
Say I'd been shot right through my chest
Defending here our tsar,
And died for him the way one should,
And that our leeches[29] are no good,
And that I bow in honour
Before my native corner.

It's quite unlikely that you'll find
My folks alive up there...
And frankly, it'd have been unkind
To drive them to despair;
But then if either's still all right,
Just say that I'm too lax to write,
That the platoon keeps raiding;
So let them stop awaiting.

There used to live a girl next door...
How far it was from now!..
About me she won't ask... it's more
Than certain, anyhow;

---

[28] Завещание, 1840.

[29] Also "leecher" (archaic or derogatory) A physician, a healer.

So go and tell her all the truth;
An empty heart deserves no ruth;
Just let her weep a little...
She doesn't care a tittle!

**MOTHERLAND**[30]

I love my motherland, and yet my love is queer!
It can't be taken over by my mind.
The glory bought for blood so dear
Or the majestically confidential quiet
Or any cherished lore from times obscure and ancient
As ever fail to pleasure my imagination.

But I do love — without a notion why? —
Her silent steppes in frigid contemplation,
Her boundless woods in constant undulation,
Her flooding rivers getting ocean-wide;
I love to ride a cart along a country road
And, peering through a dark night, ever and anon
To notice far aside, with sighs for an abode,
The faintly trembling lights of hamlets woebegone;
I love the whiff of burnt-off stubble,
A wagon in the steppe at night,
And midst a yellow field, a couple
Of birches shedding down their white.
Unlike so many, I adore
Rich harvesting in threshing-yards,
An ízba with a roof strawed o'er,
And patterned wooden window-guards;
And in the dewy dusk of romping,
Till midnight I could watch high jinks,
With all their dancing, whistling, stomping
To chattering of drunk *muzhiks*.

[30] Родина, 1841.

**THE CRAG**[31]

Once upon a night, a golden cloudlet
Snuggled to the chest of crag the giant;
In the morn, she left her rest behind
Frolicking against the azure proudly;

But a dew-mark lingered in a weathered
Furrow of the crag. In desolation,
He is standing, deep in contemplation,
And he's softly weeping in the desert.

[31] Утес, 1841.

**TAMÁRA**[32]

In Daryal ravine, where the Térek
Is burrowing deep in the dark,
There loomed up a time-beaten tower,
Stark black on the rock, black and stark.

Time was, in that high narrow tower
Tamára the Queen used to dwell;
As graceful as angels from heaven,
As guileful as demons from hell.

And there in the fog-shrouded midnight,
A gold light would glimmer and grip
The eye of a wandering horseman,
Would lure him on in for a sleep.

He'd make out the voice of Tamára;
It sounded so passionate, nay
Enchanting with powerful glamour,
With some inexplicable sway.

The voice of the invisible peri
Attracted a knight and a groom;
A eunuch loomed up in the doorway
And let one inside from the gloom.

With two fizzing goblets beside her,
Clad only in pearls and brocade,
Alone in her exquisite bride bed,
Tamára was lying in wait.

The arms interlaced in embraces,
The lips spliced together so tight,

[32] Тамара, 1841.

And haunting tempestuous sounds
Resounded up there through the night.

As if in that desolate tower
A tenscore had gathered to slake
Their lusts in a raving night wedding,
To solace their grief in a wake.

But daybreak had barely bescattered
Its rays on the tops of the tors,
When darkness and eerier silence
Regained their old power indoors.

And only the wild roaring Térek
Raved on raging further away;
A roller ran over a roller,
A wave goaded forward a wave;

They scrambled to carry the body
Away from the place of the spell;
There flashed something white in the window,
And there could be heard fare thee well.

And that fare thee well was so tender,
So sweet was that voice from above,
As if it were promising raptures
Of tryst and caresses of love.

**THE TRYST**[33]

1
Behind the eerie mountain
The evening sun has gone;
The rattly boiling fountain
Is hardly gleaming on;
The zephyr smells of garden leaves,
Of lively fragrant blooms;
Tiflís is wrapped in soundlessness;
The valley darkly fumes.
Above the wicked-hearted ones
Bad dreams are overhung;
And the celestial guardians
Are talking with the young.

2
Behind the old watchtower, on
That dark and gloomy rock,
Beneath the fresh chenár, alone
I'm lying on the rug.
I'm lying and I'm wondering:
Oh, was it not the mist
Of charms I had been under when
You offered me a tryst?
The hour is full of mystery,
Replete with sweetest dew;
My friend, from underneath the tree
My dreams are calling you.

3
The torches on the bridge below
Are scarcely shedding light;
Black belfries in their vigil glow

[33] Свидание, 1841.

Are standing guard tonight;
In white, that flows so vividly
Against the murky paths,
Young Georgian maidens timidly
Are walking out of baths;
They're strolling with a scanty sway
Along an empty row...
But veiled — there's not the faintest way
To make you out below!..

4

Down yonder I can recognise
Your housetop, smooth and dim;
Your back porch in a trembling wise
Is bathing in the stream;
Against the blue Kuŕa, in fresh
Cool air of the ravine,
Your house with all its ivy mesh
Is hidden by the green;
Right there, behind the sallow tree, —
Your window I can sight...
But there is not a solit'ry
Awaited candlelight!

5

I'm waiting. My bewilderment
Does make me gape and shrug
For nothing; with my whittle I rent
Impatiently the rug;
I'm waiting; none of cheer is left;
I'm desperate and triste...
And here's the damp and chilly draught
A-brewing from the East;
There redden high and hoary tors
Above the misty spans;
There move away the corridors
Of merchant caravans...

6
Dry up, you tears, you wretched drops;
My temper, out you break!
I've realised your treacherous
Deception, dirty snake!
I know what solaced yesterday
The Tartar lad who rode
Like crazy, with a hasty sway,
Along the pealing road.
It's you with whom he's dallying
A-prancing to your sighs,
And on his Persian stallion
Your father feasts his eyes.

7
I'd leave the town assertively,
My rifle in my hand;
There under the deserted cliff
The dusty road will bend.
Behind the chapel, rearing
Above the burial sites,
I'll wait; that narrow clearing
Is here, right in my sights.
My chest is heaving — that's all right! —
I've lain between the stones;
Ah! Scummy scoundrel, there you ride!
You'll never make old bones!

1
Here I am alone upon the roadway;[33]
Through the mist, the flint way gleams afar;
The night is still. To God harks the wide-open,
And a star is speaking to a star.

2
And the skies are full of solemn splendours!
Sleeps the Glebe, her halo shining blue...
Why am I so pained and so uneasy?
Are there things that I expect? Or rue?

3
Not a thing expect I any longer;
From the bygones, rue I not a chip;
All I'm longing for is peace and freedom!
All I want is to forget, to sleep!

4
But unlike that slumber of the buried...
Wish I fell for evermore asleep,
While my heart could keep a vigorous vigil,
And my breath could come out from the deep;

5
So that all night through and through the daylight,
A sweet voice could sing me songs of love,
And an oak would never stop its murmur,
Bowing down its green boughs from above.

[33] «Выхожу один я на дорогу. . .», 1841.

1
It isn't you who set my heart on fire;[34]
It isn't me for whom your beauty flashes —
In you, I love my anguish turned to ashes,
My withered youth I left behind afar.

2
And when at times I look into your eyes
And sink into a long deep contemplation,
My heart enjoys a secret conversation —
It isn't you with whom my heart conspires.

3
It is my youth-mate's talk my heart absorbs,
And in your face it looks for other features,
And in your lively lips — for faded speeches,
And in your eyes — for once resplendent orbs.

[34] «Нет, не тебя так пылко я люблю. . .», 1841.

## СОДЕРЖАНИЕ

**I.**

«Не спится, и за дверью непогода...» . . . . . 6
«Растянутой на мили вереницей...» . . . . . 7
Двуязыкий . . . . . 8
«Я видел сон: мы плакали на кухне...» . . . . . 9
«Вслушаешься: будто кто-то в стекло...» . . . . . 10
Блаженная Анна . . . . . 11
«В доме не ко времени темно...» . . . . . 12
«Незадолго до станции стало смеркаться...» . . . . . 13
«Оттого что я в городе том не живу много лет...» . . . . . 14
Сон-«Diego» . . . . . 15
«Землю, что жжёт ступни...» . . . . . 16
На речке . . . . . 17
«Дождь хлопал по картофельной ботве...» . . . . . 18
«Пустяк, казалось бы, — твой друг сменил квартиру...» . . . . . 19
Памяти Николая Слуднева . . . . . 20
«Горечь иных годовщин...» . . . . . 21
Предместье . . . . . 22
«Я гляжу, как если бы извне...» . . . . . 23
Одиночное катание . . . . . 24
Данечке в память о светлом празднике, с любовью . . . . . 25
Вторник . . . . . 26
«Поехали, слушай, в Сиэттл...» . . . . . 27
«Если надумаешь ехать сюда по железной дороге...» . . . . . 28
«В какой-то жизни, ранешней, нездешней...» . . . . . 29
«Никогда я не думал о завтрашнем дне...» . . . . . 30
Человек в окружающей среде . . . . . 31
Вторчермет . . . . . 32
Redhead Revisited . . . . . 33
Ранняя Пасха в Сибири . . . . . 34
«Ненастье минуло, и с веток...» . . . . . 35
Лето в городе . . . . . 36
На языке растений . . . . . 37
Цикада . . . . . 38
Памяти небожителя . . . . . 39
«За окном, во тьме кромешной, шорох...» . . . . . 40
Северные строфы . . . . . 41
Уральские стансы . . . . . 42
Июльский блюз . . . . . 43

Большая перемена . . . . . 44
Молитва . . . . . 46
«Запиши мне голос свой по случаю...» . . . . . 47
«Московские ночи. Мужской приключенческий зуд...» . . . . . 48
Памяти Кости Белокурова . . . . . 49
«Ты припал к стеклу заплаканным лицом...» . . . . . 50
«Будто топчется кто у порога...» . . . . . 51
«К полуночи барахлом...» . . . . . 52
Мохаве . . . . . 53
Мотели . . . . . 54
Холостяцкая квартирка . . . . . 55
В таверне . . . . . 56
Птица-пересмешник . . . . . 57
«Ночь собирает былых обитателей...» . . . . . 58
«Здесь у меня, кроме любви, — ничего...» . . . . . 59
«Рождённого средь вечной мерзлоты...» . . . . . 60
Затворник . . . . . 61
Русский Париж . . . . . 62
Новый Китеж . . . . . 63
Санта-Барбара . . . . . 64
Прощание с Марсом . . . . . 65
«Мелькнув, растаял хоровод теней...» . . . . . 66

**II.**
Окнами на север . . . . . 68
«Падали впотьмах лепестки...» . . . . . 72

**III. Стихотворения на английском языке**
Santa Ana . . . . . 74
Manhattan . . . . . 75
Stanzas to Cedar . . . . . 78

**IV. Избранные переводы стихотворений М. Ю. Лермонтова на английский язык**
Longing (Желание) . . . . . 80
The Sail (Парус) . . . . . 81
A Muse (Дума) . . . . . 82
A Cossack Lullaby (Казачья колыбельная песня) . . . . . 84
<Valerique> («Я к вам пишу случайно; право...») . . . . . 86

Testament (Завещание) . . . . . 95
Motherland (Родина) . . . . . 97
The Crag (Утёс) . . . . . 98
Tamara (Тамара) . . . . . 99
The Tryst (Свидание) . . . . . 101
«Here I am alone upon the roadway...»
(«Выхожу один я на дорогу...») . . . . . 104
«It isn't you who set my heart on fire...»
(«Нет, не тебя так пылко я люблю...») . . . . . 105



Александр Калужский родился в 1958 году на Чукотке в семье контрразведчика, в Свердловске окончил среднюю школу и факультет иностранных языков пединститута. Преподавал в вузах Свердловска и Иркутска, в конце 80-х был менеджером рок-группы «Наутилус Помпилиус», заместителем председателя Свердловского рок-клуба, выступил сценаристом фильма «Сон в красном тереме» — о «свердловском роке».

Стихи начал публиковать в газетах Иркутска в начале 80-х. Первая журнальная публикация состоялась в 1988 году, в «экспериментальном» январском номере журнала «Урал». Писал тексты песен на английском для екатеринбургской группы «East of Eden», в 1992 году отправился с ней в США, где и остался. Ныне — гражданин США, живёт в Сан-Диего, преподаёт английский язык и литературу в одноимённом университете. Перевёл на английский 50 хрестоматийных стихотворений Лермонтова, вышедших в 2009 году отдельной книгой в Екатеринбурге.

* * *

**Издание осуществлено при поддержке Игоря Богданова, Василия Дорогокупли, Александра Лобка, Вадима Месяца, Евгения Мусихина и Олега Скворцова, коим автор выражает свою искреннюю признательность и глубочайшую благодарность.**

Литературно-художественное издание

**КАЛУЖСКИЙ**

Александр Сергеевич

# НЕВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

## СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ

Редактор — А.С. Верников.
Корректор — Н.А. Зайцева.
Компьтерная вёрстка —
Творческое объединение
«Уральский меридиан».

Творческое объединение «Уральский меридиан»
620075, Екатеринбург, ул. Пушкина, 12.
Тел. (343) 371-33-70, 268-27-79
Подписано в печать 28.03.2012. Формат 79x108/32
Бумага офсетная. Гарнитура Cambria.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 847
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии АМБ
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59.
Тел.: (343) 251-65-91, 251-65-95